
На крыше стоэтажки
лежу под линиями электропередач,
они уползают за край,
как эскалаторы в метро.
По ним уползают синички
размером со спичечные коробки.
Облака похожи на божьих рыбок.
Так много вокруг,
что как бы теперь
не исчезнуть.

Стираются грани подъёмного крана,
рыжего-рыжего, как закат южный,
исчезает липа, готовая к осени облететь.
Что остаётся.
Любовь, свет, голос,

то, что нельзя пощупать,
за что не ухватишься, падая
в ужас поэзии
глаза в глаза.

И снова, снова
пахнет дымом слово,
и ничего не остаётся, кроме
как наконец всмотреться в тишину.
Кружатся механические буквы,
колёсики от поезда метро,
выходишь из набитого вагона,
заезжен намертво,
освобождён.

Страшно, что я тебя забываю
в шуме дороги нелётной зимней,
в голосе диктора из магнитолы,
иногда только
или отзвук какой напомним,
или мужик, мнущийся у светофора,
который в зеркале заднего вида
всё отдаляется,
отделяется,
превращается в точку.

Как быстро кончается счастье,
не успеешь заметить.
Утром чистишь машину,
соседке даёшь прикурить,
и чувствуешь: нет его,
хрупкого, как слеза в глазу,
как апрельская веточка на весу.

Стала она голая, лёгкая,
сбросила с себя память
о муже, разбившемся в аварии,
свекрови, растянутой на полу,
фарфоровой вазочке с первой сиренью.
Сыновья вынесли
чистую, как тень, её –
в реанимации тепло, тихо -
одуванчиковая лужайка
белого света.

А ты всё ещё существуешь,
подметаешь ветки и шелуху
на тоненькой тропке к дачному домику
в кирзовых сапогах
и в стихах, как в листьях,
странно:
переболело, стихло,
но так и живёшь
в моей вечной осени,
в единственной минуте до снега.

Уходя, оставишь квартиру, машину, дачу,
дети поделят, внукам достанется
чужая память,
нажитая непосильным трудом,
коробки с шифоновыми платками,
надевать любила, на дискотеки ходила,
во поле берёзонька стояла,
ветер с Волги, душица, горячее лето,
прошло бесследно,
некому рассказать.

В понедельник у Сашки Розанова
сделаешь «татуху» с азбукой Морзе:
точка-тире,
круглая ночь - тоненькая тропинка.
Будут чернила с тобой говорить, как мир
на понятном только вам языке.

Вспомнила, как свекровь хоронили,
внесли в комнату лицо напудренное серое,
бабуля рыдала «умница моя, красавица»,
тётушки сетовали,
я старалась
насмотреться на смерть:
длина
ширина
икона.

Мальчик в больнице сидит над книжечкой.
Пишут: солдат и крестьянка встретятся после войны,
в сорок шестом,
он без ноги, она без молодости
в стареньком платье в горошек.
Но это неважно, мальчик уже понимает
и представляет,
что где-то
в придуманном январе
лает собака на госпитальном дворе,
домишко напротив в облаке тонком летит,
худенькая медсестра накладывает бинт,
рана окна, побелевшая в снегопад,
больше не ноет, мамочка, не болит.

Не мои стихи
пишутся легко и бесповоротно,
вот Сапфир затесался, строчки вниз головой,
висят, как летучие мыши,
весёлый Лимонов прогуливается с собутыльником,
разрушает страшное, страшного не существует -
побудьте ещё,
я вас читала, смеялась сладостному обману,
что останется,
если я перестану.

Не по размеру платье это, сшитое
из бывшего мужа, до сих пор таскающегося на ужин,
поисков психолога, который не выдаст,
странных товарищей, с которыми сталкиваюсь у кофейни,
любовника, о котором и вспоминать неудобно -
красивая я была, щеголяла бесстыдно.
Нету нового:
не прожито,
не придумано,
неужели голой теперь оказаться нужно.